



ПОКЛОН ОХОТЕ

Александр Гаврилович Нестругин родился в 1954 году в селе Скрипникове Калачеевского района Воронежской области. Стихи публиковались в журналах «Русское эхо», «Дон», «Подъём», «Простор», «Сура», «Сельская новь», «Молодая гвардия», «Наши современник», «Роман-журнал – XXI век», «Новая книга России» и других, в газетах «Российский писатель», «Литературная Россия», «Литературная газета», в альманахе «День поэзии». Автор пяти сборников стихотворений. Лауреат премии воронежского комсомола имени В. Кубанева, всероссийской литературной премии «Имперская культура» имени Э. Володина. Член Союза писателей России. Живёт в Воронежской области.

С двенадцатилетнего возраста и до тридцатилетнего я был предан охоте страстно, безумно.

С.Т. Аксаков

Зарубка первая: **РУЖЬЁ**

Оно стояло в чулане, в углу, слева от входа...

Чулан этот вовсе не был пыльным вместилищем старых вещей, сосланных в темноту и тесноту за ненадобностью. Там, например, стояли ночвы — накрытое чистой холстиной широкое и глубокое корыто, в котором бабушка Саня просеивала муку и ставила тесто для выпечки домашнего хлеба. В детстве ночвы казались мне предметом таинственным: впитавшая влагу белая мучная пыль в них не сплпалась скользким комом, а, покорная бабушкиным рукам и тихой (чтоб не вступать в конфликт с невесткой) молитве, начинала дышать и расти, как живая.

Трогать это пухнувшее на глазах диковинное месиво мне не дозволялось, а так хотелось отщипнуть кусочек, зажать в руке и посмотреть, сумеет ли кусочек этот из моего кулака вырасти...

Ещё в чулане стоял кубган — полутораведёрный глиняный кувшин с широким горлом. В нём хранился мёд с нашей крохотной, в два-три улья, пасеки. Когда открывали дверь в чулан, падавший из сеней слабый свет спешил первым делом прислониться к кубгану, чтобы глянуть из обливной его зеленоватой глазури незнакомо, по-нездешнему гордо.

А разве могла оставить входящего равнодушным самодельная чугунная ступка с тяжёлым металлическим пестом — отголосок голодных военных лет? В ней бабушка по осени толкла в порошок мелко нарезанный, высушенный до ломкости корень хрена, готовя приправу к свойскому холодцу из свиных ножек — блюду редкому, позднеосеннему, поистине праздничному.

Но главным в чулане было, конечно же, ружьё. О его существовании я узнал не сразу. Сначала были отцовские медали, которые хранились в потайном ящичке стоявшего на веранде большого деревянного сундука, бабушкиного приданого. Когда я, таясь, доставал их, они строго тяжелили руку, будто говоря: шалить нельзя. Я подолгу в одиночестве перебирал их, перекладывал на ладони металлические кружочки, — молча, будто к чему-то прислушиваясь.

Потом была игрушечная двустволка, стрелявшая пистонами. После каждого выстрела из-под бойка тянулся синеватый дымок, казавшийся мне сладким. И много ещё чего было, пока я рос: мечи, выструганные из бросовой тарной дощечки, согнутый из пружинящей в руках чернолозины лук, автомат из двух-трёх сухих подсолнечных будыльев, проткнутых лозовыми прутиками-рукоятками. Никто специально не подогревал эту детскую тягу к оружию, но никто и не ругал за наши бесконечные «сражения». Тогда, в пятидесятых-шестидесятых, пацифистов в нашей сельской глубинке не было: слишком свежа ещё была память о недавней войне — кровавая, незаживающая. Война та, остановившаяся от нашего степного села в полусотне вёрст, на Дону, не прошла мимо, сумела постучаться едва ли не в каждый дом чёрными вестями-похоронками. Да и иными подарками страшными не погнушалась — снарядами, минами. Сеньке, парнишке чуть постарше меня, взявшемуся раскручивать один из таких «подарков», оторвало кисть правой руки. Быть «немцем» (не по-настоящему, для игры) никто не соглашался, зато в готовых к любым испытаниям «русских» недостатка не было. И это неудивительно: даже взбитая нашими босыми ногами чернозёмная июньская пыль, казалось, лезла в ноздри горькой задонской гарью, едким порошком. Надо ли говорить, как тянуло нас

ко всему по-настоящему военному — ремням, пилоткам, наградам отцовским? Об оружии и говорить нечего, да где ж его взять?

И вот однажды...

Когда я его увидел, меня больше всего поразило, что стояло это сокровище на виду, специально его никто от посторонних глаз не прятал. В углу том, правда, стояли ещё какие-то ящики, но припорошённый пылью ствол было хорошо видно. Я взял ружьё в руки, понёс к свету. Протёр какой-то подвернувшейся под руку дерюжкой, погладил исцарапанное лакированное ложе. Пальцы левой руки сами собой скользнули на цевьё, обняли его снизу, прихватив ствол, будто узнавая, вспоминая. Правой руке в пору пришлась шейка приклада — указательный палец сразу нашёл строгий изгиб спусковой скобы. Приподнял свою находку, вдавил приклад в плечо, попробовал прицелиться, но мушка плавала, не хотела совмещаться со стволом: на весу ружьё оказалось незнакомо тяжёлым. Боясь, что меня увидит кто-нибудь из взрослых, скоро я вернул ружьё на место, вышел из чулана, тихонько прикрыл дверь. И с тех пор потерял покой...

О своей находке я, конечно, никому не сказал, но тайна моя жила недолго. Отец в чулан заходил редко, а тут как раз потребовалось ему что-то там найти. Вернувшись в комнату, глянул на меня строго:

— Ружьё брал? Кто тебе разрешал?

Разговор у нас получился серьёзный, а вот последствия... Сквозь слёзы бормоча какие-то глупые оправдания — «я случайно, я так... нечаянно» — сначала я даже не осознал значения заключительной фразы, того, что должен был, по слову отца, зарубить себе на носу: «Никогда больше не бери ружьё без спроса!»

— Не буду, больше никогда не буду! — преданно выдохнул я, с трудом оторвав глаза от пола. — Без спроса... Никогда не буду... Пап?

— Ну, что тебе?

— А со спросом... А со спросом — можно?

Отец усмехнулся:

— Посмотрим, какой будет спрос!

Сколько мне тогда было? Лет десять, наверное. Нет, чуть больше. Старший брат Валерий, он с сорок восьмого, тогда уже жил в Воронеже, в техникуме учился. Значит, было мне лет одиннадцать-двенадцать. Но человеком я был уже взрослым, серьёзным. Родители целыми днями на работе, а на нас с бабушкой всё хозяйство: корова Черва, овцы, поросёнок, куры. И всех накорми, напои, убери за всеми. Конечно, больше доставалось бабушке, но она как-то умела любое дело так обернуть, что без меня ей — одной-то, старенькой! — его и с места не сдвинуть. Так хочется с ребятами на выгоне в цурки или в кляка поиграть, в Вербы заваяться, но раз такое дело...

А ещё мы, сколько себя помню, строились. Когда рубленый

из кривых вербовых стволов дом перебирали, верх меняли, я ещё мал был совсем. А вот как пристраивали веранду вместо открытой деревянной лоджии, хорошо помню. Стружек было много, их смоляной запах был резким, волнующим. Из обрезков досок я что-то мастерил, выпрямляя на лежавшем около крыльца большом камне ржавые старые гвозди. Потом стали перестраивать сараи, плетнёвые да саманные, потом разбирали клуню — большой, в форме широкого куполообразного шалаша сенник древних времён; больше всего меня тогда поразило, что все «несущие конструкции» были собраны при помощи деревянных гвоздей, причём крепко-накрепко!

Начинал я, как водится, с «подай-принеси», но в седьмом классе уже самостоятельно ладил заборку стены, набивал обрешётку. Школа, само собой: в классе у нас было всего восемь учеников, спрашивали практически каждый день, попробуй уроки не сделай, особенно если ты лучший ученик. Родительское участие в моём образовательном процессе ограничивалось дневником да родительскими собраниями: первый — подписать, вторые — посетить.

Чувствую, что вам, уважаемый читатель, хочется уже задать этот естественный вопрос: «Ну, и чего это он так расхвастался?» Подождите чуток, сейчас отвечу. Чуть выше, если не забыли, я сказал, что в двенадцать лет был уже

человеком взрослым; вы не поверили, но промолчали, так ведь? Вот и загнали меня в угол...

А если серьёзно, то без этой предыстории последующие события могли бы показаться вам совсем уж полной выдумкой, а мне этого не хочется.

...А время всё шло себе потихоньку, катилось: лето, потом ещё лето, за ним зима. Последний день декабря, в заиндевелые окна с улицы кто-то скребётся — то ли стужа, стража ночная, то ли Дед Мороз с подарками. Да, я взрослый, не стану я верить в Деда Мороза, но вот подарки... Как же без них, ведь праздник, самый любимый мой праздник — Новый год! И одновременно с последним ударом курантов мне исполнится четырнадцать лет...

Я закрываю глаза, и мне снится, что праздничное застолье уже — вот оно, мама ставит на стол большое блюдо с любимым моим салатом «Радость» (люди скучные называют его странным именем «Оливье»), а отец, высокий, красивый, непривычно весёлый, весь какой-то по-молодому звонкий (они с Федосеичем уже маленько проводили старый год), говорит речь. Слов я не разберу, то ли от волнения, то ли из-за одобрительных возгласов сидящей за столом родни, но знаю, что слова эти такие хорошие! Иначе отчего бы это румянец огнем жёг мои щёки... Отец, который только что был на противоположном конце стола, вдруг оказывается рядом

со мной, кладёт на плечо руку, говорит громко: «А это наш подарок, держи, ты его заслужил!» И протягивает мне свёрток — тяжёлый, пытающийся будто бы одновременно вывернуться из моих вспотевших ладоней — и остаться, вжаться в них. И в пальцы мои сквозь тонкую ткань течёт сладкий озноб узнавания, восторга, непередаваемого словом мальчишеского счастья, которое пронзает меня всего, такого взрослого, от занемевших пяток до коротко остриженного вчера строгой отцовской рукой затылка.

Я закрываю глаза, и вижу сон, и знаю, знаю точно, что всё это мне не снится. Нет, не снится!

...Оно стояло в чулане, в углу, слева от входа.

Зарубка вторая: **ФЕДОСЕИЧ**

Невысокий, крепкий, широкая и какая-то по-домашнему уютная лысина от бровей до затылка — таким мне помнится он с самых малых моих лет. Почти беззубый, говорил Федосеич быстро, неразборчиво, с запинкой, но его почему-то все хорошо понимали: может, потому, что речь его хорошо дополняли жесты, мимика и живые глаза, глядевшие из-под кустистых бровей с лукавым прищуром. Простецкая манера общения никак не выдавала в нём представителя сельской элиты — фельдшера, а о том, что за спиной у него не только фронт, но и плен, концлагерь, вообще мало кто

знал. Его фельдшерский саквояж меня в детстве не пугал, а завораживал: Федосеич умел всякий раз с шутками-приговорками достать из него что-нибудь занимательное, а то и вкусненькое. Меня, болящего, он сразил однажды совершенно невообразимым лакомством — похожей на пищевую патоку микстурой от кашля под названием «Пертуссин». Микстуру эту нужно было пить по чайной ложке, и я очень обижался на маму за то, что чайные ложечки у нас такие маленькие...

А ещё Федосеич был охотником — умелым, удачливым, одним из первых в нашем селе. Он и моего отца по-приятельски втянул в это сомнительное по крестьянским понятиям дело. Отец загорелся не на шутку: купил с рук тульскую одностволку шестнадцатого калибра, патронташ, завёл всё то, без чего настоящему охотнику не обойтись: порох, мерку, латунные гильзы, капсюли, дробь, пыжи и много ещё всякой необходимой всячины. Увлечение это отцовское, их совместные с Федосеичем охоты нашли потом богатое отражение в семейном фольклоре: отец был хорошим рассказчиком, и редкое праздничное застолье обходилось без его вызывавших общий хохот историй. Охотничью страсть отца скоро перебило нездоровье: фронтное ранение и варикозная болезнь ног привели к тому, что уходить далеко от дома, бродить по полям и оврагам он уже не мог: ноги немели и опухали.

Ружье надолго заняло своё место в чулане, а охотничьи припасы в самодельном деревянном ящике отправились в «высокую ссылку», на шкаф, куда нам с братом забираться не разрешалось. Меня, по малолетству, эта охотничья эпопея отца, казалось бы, никак не могла задеть, но...

Спустя многие годы я прочёл у С.Т. Аксакова: «Как зарождается в человеке любовь к какой-нибудь охоте, по каким причинам, на каком основании?.. Ничего положительного сказать невозможно. Конечно, нельзя оспорить, что охота передаётся воспитанием, возбуждается примером окружающих; но мы часто видим, что сыновья, выросшие в доме отца-охотника, не имеют никаких охотничьих склонностей и что, напротив, дети людей учёных, деловых ех professo, никогда не слышавшие разговоров об охоте, — делаются с самых детских лет страстными охотниками. Итак, расположение к охоте некоторых людей, часто подавляемое обстоятельствами, есть не что иное, как врождённая наклонность, бессознательное увлечение».

Наверное, Сергей Тимофеевич прав, особенно если учесть, что к «охотам» он относил самые разные увлечения: и охоту с борзими собаками, с ястребами и соколами, и с сетью и удочкою за рыбою, и даже «бескорыстную» охоту «до певчих птиц и голубей».

Мои «охоты» начались с того, что в детстве, ещё дошколёнком, я по осени чуть ли не на коленках пролезал все тёрны и лозинники в

пойме пересохшей реки Криуши, выискивая под листьями грибы опята. Это притом, что в нашей семье не было грибников, а сам я тогда грибы не ел вовсе, даже на дух не переносил. Почти с тех же лет я добывал летом — вручную, без всяких снастей — в пересыхающих полуйных лужах-озерках всякую рыбью мелочь, от окуньков до по-змеиному гибких вьюнов. Потом, только-только освоив езду на велосипеде «под раму» («на раму» не доставал), стал ездить на рыбалку... в соседнюю область, Волгоградскую — у нас в селе тогда своих прудов не было. А ведь ни отец, ни старший брат, ни соседские ребятишки о рыбалке понятия не имели.

Охота настоящая, ружейная, явилась моему детскому воображению в образе Федосеича. С чего всё началось? Точно теперь уже не скажешь, но память сохранила один случай. Когда Федосеич в полной охотничьей экипировке, в белом халате, с двумя добытыми зайцами через спину, вошёл под вечер в наш двор, я, влипнув в оконное стекло, весь дом переполошил: «Гляньте, гляньте — дядя Толя! Что несёт!»

Федосеич в дом заходить не стал, покурил с отцом на веранде и, оставив нам в подарок половину своей добычи, двинулся домой. Когда он шёл по пробитой в снегу дорожке к воротам — невысокий, усталый, сутулящийся — приклад ружья то и дело задевал гребешок наваянного вдоль штaketника сугроба, оставляя в снегу глубокие метины. В них натекали сумерки,

застывали тяжёлыми свинцовыми полосами. Когда я засыпал, эти синевато-свинцовые метины тянули мой туманящийся взгляд туда, за ворота, и сердце моё, замирая, рвалось-спешило туда же...

Потом были совместные наши походы в зимнюю пойму (по-нашему — Вербы). Федосеич заходил ранним утром, ещё по-тёмному, и огородами, снежной целиной мы долго брели к дальним тёрнам. Начинало светать, опушённые инеем вербы стояли обочь белыми молчаливыми великанами. Я спрашивал шёпотом:

— Дядь Толь, может, пора?

— Ч-ч-чуток ещё, Сашок!

Мокрела спина, пот начинал заливать глаза. В далёких уже окнах домов гасли жёлтые огоньки. Скоро и Вербы кончатся...

— Дядь Толь, уже ж край...

— Чи-чи-чи, Сашок, не спеши. Снег глубокий, заяц в крайних т-т-тёрнах ляжет, далеко не пойдёт.

На поляне, вдоль зарывшегося в снежный намёт черныбыла, — глубоко промятый заячий след. Свежий! В терновник уходит, в гущину...

— Дядь Толь!

— Ч-ч-чёрт-и-с-ним, Сашок, давай, обходи, а я там стану, в лошинке. Т-т-только тихо...

Мы расходимся. Я, проваливаясь по колено в свежие намёты, медленно бреду вокруг вытянувшегося тёмным островом терновника, а он всё не кончается. Хотя, вот, кажется... Где же Федосеич? Не сразу различаю в стороне

почти слившуюся с черноталом знакомую фигуру: белый халат, белый капюшон, белые валенки, чернеет только ствол ружья.

Машу руками, подаю знак, что выходного следа нет, и Федосеич даёт отмашку рукавицей: заходи на исходную! Легко сказать... Возвращаться по своему следу, конечно, легче, но вот уже пора сворачивать, в гущину лезть. А терновник, он колючий, чужих не любит. Каждый шаг даётся с трудом, но молодой азарт не даёт скиснуть. Вот уже и просвет, край зарослей, куда же он...

Заяц выбрасывается из сугроба разжавшейся стальной пружиной — рядом, в пяти шагах. Раз! — два! — и вылетает на сугроби-стую, вяжущую быстрые лапы целину. Он бежит медленно, я хорошо его вижу. Б-бах! Б-бах! — один за другим гулко разносятся в морозной тишине выстрелы. Эх, мимо! Заяц не пошёл лоциной, а махнул через сугроб в сторону, не дал Федосеичу верного шанса.

А я... Я не стрелял. У меня нет ружья. Я ученик. Загонщик. Эх...

Зарубка третья: **ВОЛЯ**

На карте рядом с названием нашего села — извилистый голубой пунктир, повторяющий изгибы речного русла. Да вот беда: русло есть, а реки нет. Ушла, высохла. Голубой пунктир, которым на карте обозначают пересыхающие речки, слишком оптимистичен. Или живёт старой

памятью. Вместо ушедшей воды течёт между двумя порядками домов — длинными, в несколько километров каждый — вольная пойма: вербы, талы, тёрны да черёмушник. Огороды с обеих сторон теснят её, норовят пережать дыхание, а она не даётся. Виной тому не только упрямая, умеющая хвататься за землю всякая дикоросль древесная, но и призрак умершей реки. Скрывается он где-то в тёрнах да лозинниках, в самой гущине. А по весне, когда талые воды с окрестных холмов, переполняя изрезавшие широкую речную долину овраги, устремляются к мостам и дорогам, выходит на видное. Говорят, что он, храня древнее русло, заступает дорогу полевой воде, и та, крутясь и пенясь, раздаётся широко, заливая огороды, прихватывая в иных местах изгороди и дворы. Разлив через неделю сойдёт, да не весь: в низинах, ближе к руслу, полая вода стоит долго, засасывая огородную пашню, изводя её медленно высыхающими лужами-болотцами. Вот и подступись к ней, к пойме, такой несговорчивой...

Там, в пойме, живёт Воля — таинственная, влекущая, древняя. Деревенская жизнь, только о ней слышав, сурово сводит брови: морок, выдумка, баловство! Молоко в кисельных берегах... а кто будет коров доить, пахать да сеять, огород сажать? Воля с ней не спорит, дыхание для друтого таит. После разлива, чуток помедлив, апрельскими ночами растекается она зелёным ветром

вверх по балкам и оврагам, по лесополосам да перелескам, глядя неслышно, целуя нежно пережившие зиму тёмные бугры и склоны, стыдящиеся своей наготы сырые чёрные ветки. Возвращаясь под утро, и деревенскую улицу не минует: пошепчется родственно с садами-левадами, потом, прикинувшись только что выкинувшим лист смородиновым кустом, сведёт с ума заклеенную на зиму форточку; и та, потянувшись жадно, вырвется из бумажных пут и впустит в сонную духоту дорожащего своим покоем деревенского дома палисадниковую прохладу — дрожащую, остро пахнущую клейким молодым листом, льнущую к сердцу...

Но утром деревенская улица даже сама себе не признаётся в том, что её разбудило. Затеplit дымы, станет звякать подоинником, поведёт ребятишек в школу. И только они, ребятишки, помня сладкую утреннюю тревогу, сочившуюся в невесть кем открытую форточку, будут покоряться улице той неохотно и всё-то будут оглядываться — не на дом, а на поля, на дальние перелески, на Вербы. Это уж как пить дать, точно-аптечно, по себе знаю. Глотнул я Воли той в раннем детстве наспех, жадно глотнул — по губам текло, мимо капало. Дел домашних на селе столько, что никогда всех не переделаешь, как ни старайся. Но если уж выпадала свободная минута, то часто, минуя выгон с его шумными ребячьими играми-забавами, летел я со всех

ног огородной межевой стёжкой в Вербы. Там, в зарослях лозин и крапивы, ждал меня Дерсу Узала, чтобы увести сихотэ-алиньской тайгой подальше от вставших на тропу войны местных степных ирокезов. А с верхушки старой черёмухи, росшей сразу за нашим огородом, можно было увидеть иногда дальние моря, Таинственный остров, капитана Немо. Но с каждым прожитым годом я, как из прошлогодних одежек, вырастал из Верб, мне становилось тесно там, скучно, хотелось идти куда-то вдаль, на простор. Никто и не держал: иди, рядом с домом, сразу за фермой, поля и поля, балки, перелески. Только как пойдёшь, если там, в полях тех, люди все при деле, а ты, выходит, праздным барчуком прохаживаться станешь у всех на виду. Нехорошо это, стыдно. И только когда подарил мне отец на моё четырнадцатилетие ружьё, всё вдруг счастливым образом изменилось, стало на свои места. Воля и простор были теперь моими по праву — по извечному, древнему праву охотника. И что с того, что зима все лесополосы с головой замела, все овраги завезала? И заботы эти домашние, и школьные труды нудные — на всё это, если упереться, шести дней с лихвой хватит; зато уж день последний, седьмой... он и есть, он и будет — моё ВОСКРЕСЕНИЕ! Тем более что и родители вроде не возражают...

В воскресенье просыпался я по-тёмному, только бабушка на

кухне половицей скрипнет. Бабушке жалко меня, уговаривает: поспи, дескать, ещё, внучок, тебе ж не к сроку, а на дворе вон мороз какой. Я так и взвобьюсь — шёпотом: «Ты чо, ба?! Я ж на охоту, понимаешь? — на охоту... мне до свету в Дорошев яр выйти нужно!» Покачает бабушка головой: «Поешь хоть», — да какое там поешь, когда душа уже там, на воле, поперёк позёмок скользит, сердце биться торопит.

Пара глотков чая с куском какой-нибудь вчерашней пышки-ватрушки — на ходу, уже одеваясь. Патронташ, что твоя офицерская португя, ловко схватывает, подгоняет по фигуре виснувшую на моей лозинистой худобе фуфайку. Треух на голову, ружьё на плечо — и вперёд, в морозную, обжигающую щёки утреннюю стынь. На волю, на простор, за чугунные ограды запретов и условностей.

Выйти пораньше звала меня, конечно, охотничья страсть, молодое нетерпение, но не только в этом было дело. Томило меня то, что был я охотником безбумажным, вроде как браконьером, что ли. В то время на селе меж людьми считалось это вполне извинительной мелочью, когда речь шла о взрослых мужиках, вышедших побаловаться ружьишком в зимнюю пору, дававшую недолгую передышку хлеборобским трудам. А тут пацан совсем, школьник сопливый: баловство, непорядок! К тому же не тайга сибирская у ворот, а

Черноземье, Срединная Россия. Село наше дальнее, окраинное, на три области петух кричит, но иногда участковый милиционер наведывается, в выходные, бывает, из города настоящие охотники наезжают. Зачем чужим людям на глаза попадаться? Да и не им только, есть и среди своих завистливые да недобрые. Если вляпаюсь, как потом отцу в глаза глядеть стану?

Надо сказать, что охотничью дрожь-трясучку мою мысль эта — «не подвести отца» — с самого первого «ружейного» дня крепко за воротник держала. И теперь, прожив жизнь, я понимаю, как рисковал тогда мой строгий, временами суровый отец — и как точно, как мудро тогда он понял меня, порывистого мальчишку, живущего несбыточными грёзами романтика и книгочая. Главное было в том, что он мне ничего не сказал, а я всё услышал. И это стало нашей тайной. А тайна — она ведь выше слов, правда?

Когда малиновая ранетка солнца выкатывалась из-за Холодной горы на ледяной небосклон, я был от жилья, от докучливых людских глаз уже далеко-далеко — не достать. Это был особый, сурово-светлый мир вечных красок, звуков и чувств. Где-то совсем рядом лежало далёкое джек-лондонское Белое Безмолвие, а под полужанесённым овражным кустом черноклёна полоска жухлой травы темнела спиной героя повести Григория Федосеева «Смерть меня подождёт», пытающегося

разжечь костёр последней, расколотой надвое, спичкой. Мне хотелось стать своим среди них, настоящих людей, сильных, не боящихся трудностей.

И потому, подхватив на подветренной стороне оврага утренний заячий след, я распутывал его на зализанной позёмками пашне упорно, чуть ли не на коленках. Вспоминая рассказы Федосеича, находил оставленные коготками заячьих лап метины на заледевшем насте раздетых ветром пропleshин, распутывал хитроумные «двойки» и «тройки», сдвоенные и строенные следы на снежной целине низинных затишков, находил «сноски» в зарывшемся в снег польнке — там, где заяц, пытаясь меня запутать, делал вдруг прыжок в сторону метров на пять. «Ага, — шелестел я беззвучно обветренными губами, — вон край сугроба порыт, но снег в ямке не примят — ложная лёжка. Значит, он уже где-то рядом...» Горячим комом колыхалось в груди сдерживаемое дыхание; рукавицу долой — курок взведён, указательный палец на спусковой скобе...

Заповедь Федосеича «Заяц всегда встаёт у тебя за спиной» сверлит мозг, я поминутно оглядываюсь и... лишь боковым зрением улавливаю варом обдавший сердце характерный промельк: он, заяц! Ружьё пытается догнать его одним рывком — навскидку: «Б-бах!» Приклад больно толкается в плечо, сгоревший дымный порох забивает горло — а заяц, прижав уши к спине, взмывает

снежную пыль уже метрах в ста, кубарем катится по склону.

В первое время всё было именно так, раз за разом: тропить зайца — наука непростая. Нужен навык, а ещё выдержка, твёрдая рука, верный глаз. И ружьё — не такое, как моя раздолбанная, «гуляющая» в сочленениях старая тулка. Но на втором году охоты уже далеко не всякому зайцу удавалось меня обхитрить. И ружьё ко мне попривыкло: приклад не бил в плечо до синяков, мушка не порошила прищуренный мой глаз, а вела его, помогала. А я, даже когда стрелял навскидку, научился угадывать тот единственный миг, когда ствол, будто забыв о скором выстреле, движется зряче, твёрдо и плавно.

То бишь стал я охотником уже не только на словах да по общичию. Правда, с добычей возвращался не так уж часто. Да и не всякая добыча радовала. Однажды морозным январским утром набрёл я случайно возле лесной полосы на ночевавшую в снегу тесным кружком стаю куропаток. Они — ф-ф-фы-р-р — у меня из-под ног, я даже рукавицу сдернуть не успел, не то что выстрелить. Но далеко не улетели, в сотне шагов от меня в снег попадали, теперь уже не скопом, поодиночке. Снег свежий, глубокий, упадёт в него куропатка — и нет её, только воронка видна. Я — ружьё наизготовку и вперёд, к воронкам тем снежным. Подошёл уже на верный выстрел — не взлетают. Ближе подхожу, ещё ближе...

Приходилось мне читать, как, охотясь на ночующих в снегу тетеревов, подходят к ним чуть ли не вплотную, валенком на хвост наступают, да как-то не очень в это верилось: мало ли доверчивой публике всяких охотничьих баек впаривают. А в то утро убедился, воочию увидел, что такое бывает. Куропатки начинали взлетать, когда я был уже шагах в десяти, причём взлетали не разом, а поодиночке, будто давая время примериться, выцелить. Снег гасил начальный рывок крыльев, взлёт получался как в замедленном кино, и тут уж даже мне, мало стрелявшему влёт, было труднее промазать, чем попасть. К тому же куропатки вели себя странно: после выстрела они, пролетев метров двести-триста, снова падали в снег. Я поднимал добычу, перезаряжал ружьё, и всё повторялось как под копирку. В стайке той было около полутора десятков птиц, я мог бы выбрать их всех, но, слава богу, очнулся, опомнился, привязывая на пояс четвёртую или пятую. Почему-то возникло вдруг неприятное, сосущее чувство вины, объяснить его я себе не смог. Но продолжать охоту уже не хотелось, и я, набрав до своей обычной дневной нормы часа два, тронулся в сторону дома. По дороге вспомнилось где-то вычитанное: если в стае зимой останется всего пять-шесть особей, куропатки погибнут, потому что не смогут сохранить тепло своего живого кома длинными морозными ночами. Да, говорил я

себе, ты молодец, вовремя остановился. Стайка ещё большая, она должна выжить.

Но вина не отпускала, продолжала сосать из груди горячий, пьянящий лёгкие охотничьим восторгом воздух. Обходя сугробистый овраг, я поспешил и в самой вершинке провалился в снег по грудь. В первое мгновение ощутил оторопь: снег, крепко ухватившись за валенки, не хотел меня отпускать. Переведя дыхание, стал полужёжа, держа правой рукой над головой ружьё, проминать себе дорогу. И увидел прямо перед собой, в затишковой ложбинке, ясные, будто нарочно сделанные отпечатки заячьих лап. Было видно, что заяц прошёл здесь легко, словно просквозив над коварной этой снежной глубиной.

И я подумал: вот, вот в чём дело!

Я подумал, что если я пойду сейчас по следу, то заяц, легконогий и сторожкий, вовсе не будет обречён — куда там, попробуй к нему подберись! Да попробуй ещё попади в него, катящегося по склону серым клубком, полуплывающего. Это и есть охота, настоящая, потому что в ней мы со зверем на равных: у меня — ружьё, у него — чуткие уши, быстрые ноги и отточенный веками инстинкт борьбы за выживание. А у куропаток сегодня никакого шанса не было. Может, сморила их долгая стужа, может, бескормица одолела — не в причине дело. Они были как будто обречены, я не сразу понял

это, но не мог не почувствовать; и эта непонятная, гнетущая сердце тоска — она, конечно же, оттуда.

И я подумал, что я не хочу повторения — и никогда не стану бездумным рабом, покорным пленником такой охоты...

Скоро я понял, что моя охотничья страсть устроена как-то странно: для неё куда важнее было преддверие, предощущение удачи, чем сам удачный выстрел. Чернотроп ли, пороша, снега ли по колено — мне всегда хотелось уйти подальше, бродить и бродить, глубоко вдыхая в себя сизый степной полынок и почерневшие бурьяны, солнечную распахнутость убранных полей, тёмно-сизые метины перелесков. Полевое, степное это одиночество не тяготило меня, не томило; напротив, оно было дорого, необходимо мне. Через годы я нашёл такое же чувство у моего земляка Ивана Бунина, сначала в прозе, а потом и стихах:

*Не видно птиц. Покорно чахнет
Лес, опустевший и большой.
Грибы сошли, но крепко пахнет
В оврагах сыростью грибной.*

*Глушь стала ниже и светлее,
В кустах сваялася трава,
И, под дождём осенним млея,
Чернеет тёмная листва.*

*А в поле ветер. День холодный
Угрюм и свеж — и целый день
Скитаюсь я в степи свободной,
Вдали от сёл и деревень.*

Когда Бунин писал эти строки, ему было девятнадцать лет. До нобелевской речи столько ещё всего должно случиться; но не здесь ли, в осенней русской степи, во время одиноких скитаний с ружьём на плече забрезжило в его душе, тронуло сердце сладким холодом всё то, что потом, уже в другой жизни, вдалеке от России, отозвалось просветлённой глубиной, светлой печалью «Жизни Арсеньева»?

В четырнадцать-пятнадцать лет сжигала моё сердце одна страсть — охота, о сочинительстве я, кажется, тогда даже не помышлял, хотя как знать, как знать... Жадный до сладкого ветра охотничьей широкой воли, дорожащий каждой минутой пьянящего ощущения азарта и непокоя, иногда я вдруг останавливался, замирал. И подолгу молча смотрел — казалось бы, бесцельно и бездумно — на то, что никак не выбивалось из обыденно-привычного течения деревенской жизни: на перевитую позёмками прощальную чернь глубокой пахоты, на будто бы слитый, задохнувшийся куржаком бурьян-деревей на дне разорванного пруда, на дымное от стужи, сжавшееся, страшщееся ступить на снег босое рассветное солнце, которое некому согреть, утешить. У меня не было тогда соблазна перенести эти свои необычные ощущения на бумагу, но почему-то не хотелось, чтобы они ушли бесследно, стёрлись, забылись.

Теперь сам себе удивляюсь: как можно было идти и идти целый день, не приседая? А ведь шёл. Даже обедал на ходу: в одной руке хлеб, в другой — сало. Хлеб тёплый, он за пазухой был, а сало в кармане телогрейки стало почти каменным, но это не беда, зубы-то ещё все целы! От зубов на сале оставались следы-бороздки, как от вогнутой стамески на деревянном бруске. Прихваченное морозом сало, оттаивая во рту, сластило, тянуло на себя слюну. Особенно нравилось мне медленно разжёвывать шкурунку — зарумянившуюся от соломенного жара, пахнущую дымком. Во рту потом долго ещё оставался этот дразнящий вкус-аромат...

Приходил с охоты я всегда в сумерках. Оставив ружье в холодных сенцах, заходил на кухню, плюхался на табуретку, стягивал тяжёлые валенки. И долго пил из жёлтой литровой кружки бабушкин кисло-сладкий, пахнущий летом взвар — закрыв глаза, большими торопливыми глотками. Когда моей любимой кружки не случалось под рукой, я, не в силах ждать, поднимал перед собой ведёрный чугунок и пил прямо из него, через край. Бабушка Саня ругала меня, дикаря, а я только улыбался. Я был тогда очень счастливым человеком, только не знал об этом. Во сне после охоты я часто летал, как герой печатавшейся тогда в «Пионерской правде» какой-то фантастической повести. Этому ничего не мешало:

валенки, которые к вечеру я едва волочил, каждый по пуду, мирно дремали, грели бока на лежанке. Наверное, им тоже снились лёгкие, счастливые сны.

Зарубка четвёртая: **КРАСНЫЙ ВОЛК**

Был я зайчатником-одиночкой, как иногда говорили в шутку мои старшие коллеги по недугу, «топтуном»: собачки нет — нюхай воздух, топчи след. В своих зимних «топтаниях» я иногда задевал взглядом свежий лисий след; порой и сама лиса, вышедшая помышковать, мелькала где-нибудь возле зимовавшего в степи стога соломы или среди будыльев поздно убранного и оставшегося невспаханным поля подсолнечника. Но мелькала рыжая охотница далеко, на ровном, не подберёшься. Тропить же её было делом бессмысленным. Это не заяц, который держится за свою дневную лёжку крепко, всеми четырьмя лапами. Лиса, хоть и считается «сумеречной» хищницей, может иногда за день накрутить на своём личном спидометре двузначную цифру, особенно в конце января, когда гон приближается. И я, постоянно держа лукавую героиню сказок в своём охотничьем уме, думал о ней скорее отвлечённо-мечтательно, чем всерьёз: «Вот бы на меня вышла!»

Охотился я обычно в той части речной долины, которая примыкала к «казачьему пограничью», на другую сторону поймы, к

большим ярам Гатьманка и Кургузка, выходил редко: чтобы туда попасть, зимой нужно было километра полтора петлять низиной, по намётам, потом выходить на «тумбочанскую» (расположенную на другой стороне Верб) улицу, где и в ранний час можно было встретить кого-нибудь из односельчан. А мне ни с кем встречаться не хотелось. Но в то утро как будто чёртик шильцем своим шкодливим подштрыкнул: сходи, дескать, Саш, туда, проведай, не всё ж тебе с Соболевым лесом дружбу водить. А что, думаю, и правда. И двинул. Когда я, миновав крайние «тумбочанские» дворы, подходил к Кургузке, ранние январские сумерки уже распались на отдельные предметы, но виделось всё как через запотевшее стекло. До стекла этого мне трудно было дотянуться, и я тёр глаза, пытаясь «навести фокус». Края оврага нависали над бурьянами высокими, причудливо зализанными ветром сугробами, а внизу, на дне, снег лежал ровно, без складок, как постеленный хорошей хозяйкой половик. Узкий этот снежный затишек, храня множество старых заячьих и лисьих следов, превратился уже в подобие звериной стёжки; по ней я побрёл вверх, к неблизкому овражному истоку.

В снеговом каньоне ещё держались сумерки. Снег под ногой не скрипел, а проминаясь, тоненько поскуливал. Шёл я неторопливо, думал о предстоящей охоте: вот выйду в вершину, огляжусь, прикину... Ружьё

на плече — маршевый вариант казался мне тут вполне уместным. Когда вымелькнуло, выметнулось из-за поворота что-то тёмное, остроглазое, намётом летящее прямо на меня, я отшатнулся, едва не заорав с перепугу. На узком дне оврага нам было не разминуться. Рванул с плеча ружьё, вскинул — на мушке кольхнулся наползающий на меня красный волк! Он тормозил всеми четырьмя лапами, но его всё ещё несло. Глаза у волка были бешеные, он щерился, грозя напасть. Между нами было не больше десяти шагов. Метаясь зверю в грудь, я нажал на спусковой крючок и... ни звука выстрела, ни щелчка, вестника осечки, не услышал. Зверь, наконец совладав с инерцией движения, остановился. Долю секунды мы, будто оглушённые, смотрели в глаза друг другу, потом он, подпрыгнув, развернулся в воздухе и гребанул снег разом всеми четырьмя: назад, назад!

Тут — будто в калейдоскопе картинку передёрнули — и разгляделось: да не волк это, а лиса, просто лиса... И стегануло по мозгам так, что сердце оборвалось: болван, ты же курок не взвёл! Курок, курок!

Прицелиться я уже не успевал, выстрелил с вытянутых рук, влёт, но в пустой след: катящийся вверх лохматый красноватый комок уже срезало поворотом. Переломив ружьё, я долго не мог поймать занемевшими пальцами ободок латунной гильзы; да что

там — я ещё долго с места тронуться не мог. Потом, осматривая «поле боя», как же я ругал себя — недотёпу, слонтяя, туриста тюкнутого!

На тебя — сама — сама! — лиса вышла, а ты — в упор — с десяти метров... А ты — а ты — а ты...

Впору зареветь, как в детстве от обиды, но у меня всё наоборот: ох, и разозлился же я тогда на себя! И сказал себе: всё, парень, пока лису не добудешь, ты не охотник. А парнишка-то я был, несмотря на книжную «ботаническую порчу», упёртый.

Надо сказать, что тогда, в конце шестидесятых годов прошлого века (не правда ли, прямо-таки древностью веет?) лиса считалась завидным охотничьим трофеем. За шкурку зайца в заготконторе давали копейки, а за лисью — червонец. Большие деньги по тем временам. Хороший лисий мех, умело выделанный, и без заготконторы не залёживался, модницы, причём не только деревенские, охотно брали его на шапки. О престиже такого трофея я вообще не говорю: ну что ты за охотник, если ни одного лисьего хвоста не прибито на двери твоего вигвама?

Вы, наверное, меня поправить хотите — мол, вигвамы вообще без дверей были? Ну, это зависит от того, где жили ваши индейцы. Наши, чернозёмные, без дверей вигвамы не рубили — зимы студеные, ноги протянешь. Но это так, к слову потешному...

После того памятного утра охотничья тактика моя изменилась мало, я всё так же кружил, как ветер, полями-перелесками; а что другое придумаешь, если собаки нет? Тропил зайчишек, но это занятие прежнего удовольствия мне уже не доставляло. Нужно было достать-добыть лису, но как?

Тянуло почему-то туда, к месту моего недавнего позора. Не то чтобы я всерьёз надеялся, что случай решит дать мне второй шанс, но какие-то неясные, тревожащие воображение мысли в голове бродили. У лис гон вот-вот начнётся. В это время они шалют, забывают об осторожности; вдруг да и явит ещё себя «красный волк»? Спутать его ни с кем я не мог, потому что зрачки мои, как фотопластинка, навсегда впитали в себя его облик.

Время шло. Охотничьи деньки коротки, летят быстро; вот уже и последнее воскресенье зимней охоты явилось. День выдался солнечный, среди дня пригрело почти по-весеннему. Я, дав полями впустую полукруг километров в десять, после полудня спустился с водораздела, неторопко шёл межовражьем Гатьманки и Кургузки. Под ногами крошился наст, ещё утром — стально-твёрдый, проминавшийся только на высоких сугробах. Поневоле приходилось торить себе дорогу по кромке зяби, там, где снег стянуло в овраг. Внизу, в долине широкой стоячей водой чернели Вербы, на ближней улице жались друг к

другу дворы, привязанные короткими стёжками к пробитой бульдозером зимней «одноколейке», как собаки к проволоке. Домам, думалось мне, тоже хочется зайти повыше, глянуть на мир не из-за оград да сараев, но стёжки держат крепко, не сорвёшься. Вот скука-то...

На склоне, полого стекавшем к оврагу, заблудившейся снеговой тучей чернела куртинка низкого полевого тёрна. За ней — занесённая по самые брови полоса колючей дерезы, из которой ладят веники и метлы. Дерезы почти не видно, сорочьими мелкими следками проступают, метят снег оставшиеся на виду самые кончики верхушек. За дерезой цепляет взгляд клок соломы — яркий, будто бы не тронутый снегами-позёмками. Останавливаюсь, всматриваюсь. Откуда он тут взялся? Ветром принесло? Солома начинает шевелиться и... приподнимает голову. Я валюсь в снег, не сомневаясь ни секунды: «Он! Точно он... Счас рванёт...»

Время останавливается, продолжая почему-то больно тикать в висках. Приподнимаюсь на локтях, поднимаю глаза: клок соломы лежит на том же месте, только очертания изменились. Неужели не заметил?!

Я ползу по склону, проминая в снегу глубокую борозду. Это совсем не похоже на кино про разведчиков. Ползти получается только на левом боку, потому что в правой руке зажато ружьё, не дай бог его в снег окунуть. Снег

забивается в рукав, холодит шею, течёт за пазуху. Сколько ещё себя мучить? Может, хватит? Приподнимаю не голову, а, кажется, одни глаза: нет, далеко. И ещё, и опять вперевалку: локоть, колени, валенки, тщетно пытающиеся во что-нибудь упереться. Ещё чуток, ещё...

Когда мушка, уняв дрожь, нащупала, коснувшись его, он, будто ощутив это, снова поднял голову. Не заметить меня — в тридцати шагах, уже привставшего, изготовившегося для выстрела — было невозможно. Он рванулся к оврагу, сделал один прыжок, другой, но мушка, чёрной пиявкой вцепившаяся в бок, его не отпустила. Дробь-нулёвка ударила кучно, избавив его от долгих мук. Когда я, перезарядив ружьё, подошёл к нему, рыже-красный красавец лисовин, уже неживой, мелко подрагивал лапами, будто всё ещё тянулся к оврагу. На этот раз повезло мне. Повезло крупно. Но странное дело: куда-то ушло, сосупило в тень ещё недавно подталкивавшее меня гулками ударами сердце, унялось шумное дыхание.

Я не испытывал восторга. Я испытывал только усталость. Было такое чувство, будто у меня отняли что-то — важное, очень для меня значимое; и я хочу всё вернуть, но не знаю, как это сделать.

Связав лисовину лапы, перекинул его за спину и двинулся к дому. Впервые я подходил к селу не в сумерках, а белым днём. И пошёл не через Вербы,

а по улице. Для себя я нашёл оправдание — дескать, пристал уже, чего в Вербах сугробы мерить. Хотя правда была настолько простой, что даже не требовала слов. Эту правду я знал, она смущала меня. И всё же я шёл по улице, здоровался со встречными односельчанами, с удовольствием слушал их одобрительные восклицания: «Силён! Настоящий охотник!» Я действительно чувствовал себя большим, повзрослевшим на годы. Это гордое чувство омрачалось одной малостью: похожей на нарывающую занозу догадкой, что взрослость — калитка, которая открывается только в одну сторону. Назад в детство я уже не вернусь.

Зарубка пятая: **ЛУННЫЙ ДЫМ**

На задах нашего двора, сразу за забором — выгон, а за ним колхозная МТФ, молочно-товарная ферма. Соседство не самое приятное, но село к таким вещам привычное, в каждом дворе своя худоба. Правда, новые корпуса — типовые, каменные да кирпичные, с поилками и прочими коровными удобствами — построили от жилых домов в стороне, почти в поле. А от старой фермы остался один корпус, который точнее было бы назвать сараем: стены из обмазанного глиной горбыля, плетённые из лозы потолки, соломенная кровля. На моей памяти в этом корпусе недолгое время был

телятник, потом телятам дали новую квартиру, а опустевший сарай прибрала к рукам местная ребятня. Там мы играли в войну, в прятки, по вечерам, светя себе жужжащим фонариком «жучок», ловили в соломенной стрехе ночевавших там воробьёв. Но с каждым прожитым годом мальчишеские голоса звучали на старой ферме всё реже: мы подросли, а у малышни, которой на нашей улице было не так много, нашлись уже другие игры-забавы.

От старой фермы, через низину, рукой подать до глинища. Около глинища была силосная яма, рядом с ней всякую зиму плотно стояли длинные скирды соломы. Снег около силосной ямы всегда был густо истоптан заячьими лапами. Зайцы приходили кормиться ночью, когда им никто не мог помешать, разве что лисы, которые тоже сюда наведывались. Иногда я пытался, подхватив около силосной ямы свежий заячий след, его распутать, но, за редкими исключениями, были то пустые хлопоты. Зайцы близко от этого бойкого места на днёвку не ложились, уходили полем за казачью межу, в бурьяны и балки. И не раз думалось мне: «А если прийти сюда ночью, засидку устроить?» Но всё что-то перебивало: то до полнолуния ещё далеко, то погода хмурая случалась, снег да вьюга. В том, что боязно ведь отправляться в глухое место ночью, пусть и с ружьём, я себе признаваться не хотел. Да, может, и правильно, что не хотел: иначе как бы я потом решился?

А ведь решился, да. Случилось это, правда, не сразу, не вдруг. Я тогда уже перешагнул порог совершеннолетия, учился в университете. Зимняя сессия оказалась длинной, экзамены держали меня в городе почти до конца января, и домой я приехал дня за два-три до закрытия охоты. Добрался домой к обеду, переоделся наспех, ружьё схватил — и вперёд: хоть час, да мой! Шёл привычной дорогой, через ферму, возле глинища притормозил: один след, другой, третий...

Снег свежий и весь заячьими стежками вышит, где крупно, где помельче. Ага, думаю, после ужина и догоялки были тут у вас, и посиделки; может, наведаться в гости? Прошёлся вдоль силосной ямы, влез на ближнюю скирду, уже изрядно разворошённую, до половины выбранную. С верха этой скирды обзор — лучше не придумаешь. Я сбросил вниз несколько смёрзшихся соломенных коржей, пробрал себе «сидку», примерился-прицелился...

Погода, что называется, шептала: лёгкий морозец, редкая облачность, небольшой ветерок — как раз с поля, на меня. И фаза луны подходящая. Когда ещё так удачно всё сойдётся? Всё, решено! Иду собираться.

А какие, собственно, сборы? Протёр ружьё, набил патронташ — до упора (мало ли что!). Сложнее оказалось с экипировкой. В телогрейке хорошо по полям километры наматывать, а сидеть на морозе без движения — холодно.

— А ты надень мой кожушок, — посоветовал отец.

— Пап, да он же столетний!
И моль, небось, его весь источила.

— Источила, да не весь. Будешь в нём, как чай в термосе.

— А где он?

— В сарае, где ларь с зерном.

Кожушок тот я долго тряс на улице, густо летевшую пыль сносило ветром, а под ноги мне падали тонкие шерстяные завитки, похожие на чёрных гусениц. Да, постаралась моль, потрудилась...

Вспомнился вдруг жаркий июнь первого послешкольного лета. В доме тихо. Ставни в горнице закрыты, на кухне свежесмытый пол дышит влажной прохладой. Я стелю на пол этот самый кожушок, ложусь на живот и, положив перед собой учебник, замираю. Слышен только шелест страниц. Когда начинает от чтения пухнуть голова, меняю книжку на тарелку с вишнями, которую ещё утром, до работы приготовила для меня мама. Правой рукой бросаю в рот спелые вишни, в левую сплёвываю косточки, отрешённый взгляд — за окном, где такие же вишни, ещё не сорванные, прячутся в зелёном кружеве листья. Я — неприкасаемый. Под койкой уже стоит собранный мамой чемодан. Скоро я уеду. Меня ждут экзамены. Важные. Трудные. Поступаю я туда, где никто ещё из нашего села не учился, — в университет, на юрфак. Там большой конкурс. Мне тревожно и весело. Я не знаю, что со мной будет, но та незнакомая жизнь зовёт меня, её дальнейшее дыхание тихо трогает мой

лоб, касается век. Я улыбаюсь, хочу что-то сказать и... засыпаю, зажав в горсти тёплые вишнёвые косточки...

В козухе, подпоясанный патронташем, я неуклюж и решителен, как средневековый рыцарь, собравшийся на ристалище. Конь мне не нужен, нетерпеливые ноги уже вынесли меня за калитку. Удивлённая луна пытается заглянуть мне в лицо, ей мешают реденькие облака, похожие на рваные тюлевые занавески. Темноты нет, это хорошо, но непривычно, и всё время хочется оглянуться: не идёт ли она за тобою след в след? Особенно здесь, около старой фермы. В лунных сумерках полураскрытый сарай с просевшими стенами выглядит чужим, пугающим, и воображение принимается за работу: кажется, что в пустых глазницах окон мелькают какие-то неясные быстрые тени. Может, это крылья давно уже облюбовавших брошенный сарай сычей? Быстрее бы дойти до места, там спокойнее...

Угнездившись на скирде, я сначала и правда успокаиваюсь. И с интересом смотрю древнейших времён немое кино, которое крутит для меня лунная ночь. Мне казалось, что всё это я уже видел много раз — из окна.

Я ошибался.

Человек, отъединённый от природы, спрятавшийся от неё в безопасном, как он полагает, укрытии, перестаёт быть её частью. Ему уже недоступно быть её дрожью, её касанием, её слезой

и гневом — даже опосредованно. Он самонадеянно пытается присвоить себе статус её исследователя, а то и преобразователя, тогда как на самом деле он даже не зритель, а тайный соглядатай, боящийся самому себе признаться в завидности своей роли.

Вот и лунный свет — «необыкновенный», «волшебный», «влекущий», какие там ещё эпитеты приготовлены для него одомашненными нашими чувствами-строчками? А он... Да, какой он? Зыбкий, неверный — даже напряжённым взглядом за него не ухватишься. Клубящийся, похожий на примятый ветром к земле дым, когда белой мошкаркой клубятся, вьются возле лунного диска сквозящие барашковые облака. Растекающийся, далеко уходящий за окаймляющие глинище полынки — и стоящий за спиной, ввинчивающийся, как восточный лекарь, вдоль позвоночника острые витые иголки...

Нет, правда, почему мне, ползарывшемуся в солому, упакованному в овчинный полушубок, неуютно, зябко? Или — как будто зябко... Холод этот идёт, скорее, изнутри, собирается меж лопаток и медленно обрастает, растекается по спине кусачими мурашками-иголочками. Мне и не страшно вроде (ружьё под рукой), а тревожно-одинокое как-то, потерянно.

И время... С ним что-то произошло. Оно остановилось. Чернеет разрытый бульдозером край силосной ямы, жмутся к скирдам припорошенные снегом бугорки упавшей с тракторной

телеги соломы, неведомые ловцы с высоких облачных челнов влекут по краю заснеженного поля свои неслышные сети-мережи; ничего, ничего в них не попадается. Сморгнёшь с глаз, смахнёшь рукавом влагу-наволочь — а перед тобою всё та же застывшая картина. Минута, час, вечность...

И смежаются веки, на миг только, и так же неслышно возникает напротив, метрах в трёх от дула ружья, скользнувшая из мёртвой зоны, из-за скирды, мохнатая тень, сверлящая меня чужими красными глазами. Испугаться я не успеваю, пытаюсь её сморгнуть (задремал, примстилось) — и она, задетая моими ресницами, кубарем катится со скирды на снег, обретая контуры плоти, причём хорошо знакомой: лиса! Доля секунды — и нет её, метнувшейся в сторону, канувшей в тёмную воду натёкшей в глинище налуну.

— Х-э-эй! — несётся ей вслед мой хриплый выдох, не столько пугая зверя, сколько пытаюсь освободить грудь от ставшего вдруг тесным ей воздуха. К ружью, удобно пристроенному на соломенном выступе, прямо под руками, я даже не дёрнулся: так быстро, так мгновенно всё произошло.

Встал, размял затёкшие ноги, помахал руками, осмотрелся. В домах на нашей улице окна уже не светятся, только на ферме, около дома животновода, горит одинокий фонарь. Время позднее. Можно и домой двигать. Зайцы теперь уже вряд ли явятся. Лиса постаралась,

и я ей помог. Как хорошо будет, вернувшись в тепло, снять этот вяжущий по рукам кожушок, попить крепкого чая, держа обжигающую пальцы кружку обеими руками... Если бы только не эта ухмыляющаяся в кулак мыслишка: «Что, спёкся? Да, парень, жидковат ты на расправу!»

Так, внутренний шепоток, пустой и глупый, никто его не услышит. А задевает. И я сажусь опять в своё гнездышко, прикрываю колени соломой, жду продолжения сеанса. Поднебесная стужа трогает звёзды своим широким рукавом, наводит блеск. Звёзды сейчас похожи на шляпки золотых гвоздей, которыми тёмно-синяя экранная ткань прибита к причудливо выгнутому пространству сцены. Кинотеатр летний, но, оказывается, кино тут крутят по ночам и зимой. Зрителей хватает, только ведут они себя необычно. Не скрипят креслами, не лужагут семечки, не переговариваются. Делают вид, что их здесь нет. Но я знаю, что на этом сеансе не один. Чувствую, ощущаю.

Облачность становится гуще, плотнее, и лунный дым уже не сквозит, а наплывает густыми волнами, застит глинище и край поля, подбирается к силовой яме. Я продолжаю напряжённо всматриваться, и мне всё чаще кажется: что-то — вон там, у кромки пахоты — колыхнулось, качнулось, мелькнуло. Нет, показалось.

Тут луна находит узкий просвет в ставшей почти сплошной облачности — и видит медленно

ковыляющего вдоль пахоты зайца. И я его вижу — ясно, чётко. Но когда, бережно приподняв ружьё, начинаю целиться, мушка расплывается, кажется, даже заслоняет цель. Опускаю ствол, снова вглядываюсь — да вот же он, вот! И тогда, не выцеливая, чуть поведя стволом по ходу движения, я спускаю курок — по наитию. И слышу, что попал. Крик зайца бьётся на одной жалобно-высокой ноте — бесконечно длинный, обречённый. Он сбивает дыхание; он, как горячий укол, наполняет мою кровь тягучей резиной, которая никак не может протиснуться через сердце. Я перезаряжаю ружьё и снова стреляю — на крик. Не целясь. И слышу, что попал...

Обратная дорога запомнилась ощущением: будто сижу я в лодке, а лодку ту, покачивая, сносит к тёмному обрывистому берегу белая скрипучая вода. Вот и берег. Он тоже скрипит: просевшей доской крыльца, промёрзшими половицами веранды. Сбрасываю на пол кожушок, снимаю валенки, неслышной зыбкой тенью просачиваюсь в тепло. Дом спит, и мне почему-то очень важно его не разбудить. В своей комнате, раздевшись, на ощупь нахожу заботливо откинутый край одеяла (это мама), ныряю в постель, закрываю глаза — крепко, будто пытаюсь спрятаться за темноту. Ничего не выходит: сквозь ресницы сочится, наплывает, теснит желанную темноту тревожный лунный дым.

Зарубка шестая: **УТИНАЯ ОХОТА**

Если кому-то услышится в названии этой главки слишком явный переклик с названием известного ему литературного произведения, я скажу ему: ладно, пусть. Замечу только, что у Александра Вампилова утиная охота — лишь метафора, обыденное имя несбыточной мечты о какой-то иной, настоящей жизни: вы ведь помните, что по ходу действия пьесы главный герой Зилов, пустивший свою жизнь на распыл бездельник и Казанова, всё время порывается уехать на охоту; порывается — и не едет.

Кстати, и у обаятельного представителя эстрадно-песенного бомонда Александра Розенбаума есть своя «Утиная охота». Когда слушаешь — притягивает, что называется, «забирает». А возьмёшь текст — и видишь пусть и не примитивный, но всё же китч, только одна строка и остаётся: «В плавнях шорох, и легавая застыла чутко». Но публике, судя по телекартинке, куда ближе разухабистый рефрен: «Гулять так гулять! Стрелять так стрелять!» Аплодируют, подпевают...

Всё это я говорю к тому, что у каждого она своя, утиная охота. В моей были и плавни (правда, без легавой), но начиналась она... в степи. Да, в засушливой нашей чернозёмной степи, где прудов тогда было — кот наплакал, зато что ни шаг — овраг или балка. Там, где оврагов было особенно

много, их вершины, вплотную подошедшие к полям, обваловали. Эта прерывистая «Великая китайская стена», защитившая поля от поползновений кочевого овражного племени, стала одновременно и хранильницей вод, талых и дождевых. Собранная обваловой случайная эта влага мало где задерживалась надолго, но были и такие изгибы-карманы, которые по весне становились похожи на пруды. Правда, пруды игрушечные, но каждый, блестя на солнце весёлым зеркальцем, манил, сбивал с пути пролётную утку. Иной раз под вечер сваливались в эти лужи целые стаи кряквы, закрывая собой, черня испуганное мелководье. Шум, плеск, разговоры на все голоса... Настоящий базар, но чуткий, сторожкий. Попробуй подберись. А подбираться надо, от кряканья этого в груди дыхание мрёт. Карабкаешься по оврагу, елозишь локтями-коленками по земле, взбираясь ползком на обваловку, только нос высунул, а они — ф-р-р-сив-сив-сив-сив — засветили крыльями. Пальнёшь вдогонку с досады и глядишь, запрокинув голову, как они, уже почти под облаками, высоту кругами нарезают. Ладно, в другой раз.

Когда постарше стал, отец иногда давал мне мотоцикл, зелёный наш «Ижак» с коляской, и я улетал на нём на дальние пруды. Они у нас почти все на одно лицо: земляная гребля, заросшая вербами, а берега пустые, голые. Утки сбиваются в хвосте, и никак их оттуда не стронешь, разве

что случайно спугнёт кто. Весь этот степной колорит сделал своё дело: к утиной охоте я не прикипел. И когда после окончания университета приехал в Подонье, где в пойме озёр и стариц не счесть, не сразу охоте этой нанёс визит. Много времени отбирала суровая работа, которая не хотела считаться ни с ночным временем, ни с выходными. К тому же я женился, родился сын, столько сразу радостных, но и крепко держащих при себе семейных забот навалилось. Жили мы тогда в половине обычного деревенского дома: двенадцатиметровая комната и кухонька, где, кроме печки, помещался только стол. Удобства во дворе, водопроводная колонка — метрах в трёхстах, через дорогу, около деда Кондачка. Если учесть, сколько воды нужно на одни только постирушки, — олимпийцев можно тренировать.

Но однажды по осени «застеночный» сосед Михаил всё-таки сумел сманить меня на уток, с ночёвкой. Сосед был постарше меня, слыл охотником опытным, и я, признаться, был очень удивлён, когда машина свернула на перекрёстке не к донской пойме, а совсем даже в противоположную сторону.

— Ты не заблудился? — не смог удержаться я от реплики. — Говорил же, в камышах охотиться будем...

— А с чего ты взял, что мы едем не туда? — по обыкновению напористо ответил мой напарник. — Маршрут точный, проверенный. Жди готового.

— А почему мы не на Дон едем? Там что, уток нет?

— Почему-почему... По кочану! Охотников там больше, чем уток. А на Криуше...

— М-да-кха-кха, — поперхнулся я, сражённый новостью.

Вот это номер! Стоило приезжать мне в Подонье, чтобы ехать на охоту туда, где я мальцом руками выюнов в лужах ловил. Ну, пусть не совсем туда, ниже по течению. Но только какое там течение, если через каждые сто метров — куриный брод, а саму речушку с разгону перепрыгнуть можно. Откуда там утки? Разве что хозяйские, из ближних дворов...

Михаил, человек по натуре настойчиво-говорливый, всю дорогу рассказывал охотничьи байки, а я только исподлобья на него поглядывал. Дорога уносила нас всё дальше от донской поймы, но слева, словно желая утишить мою грусть-досаду, текла нам навстречу вдоль мелового холмогорья неширокая полоска луговины, лоз и верб. Какая-никакая, а тоже пойма. Ладно...

Проехали несколько сёл, свернули влево, машина запылила, закачалась на ухабинах разбитой колеи. Дорога была сухая, надёжная, но в тени верб глубокие выбоины ещё держали в ладонях припорошённую опавшей листвой дождевую воду. Сосед вёл машину уверенно, даже слишком: через выбоины мы буквально перелетали с разгону. Я пытался его образумить:

— Пониже лети!

— Зубы береги!.. И лоб!.. — выдыхал он весело. — Стекло жалко!

Остановились около вербы с сухой вершиной, на зелёной луговине с чёрной метиной кострища. Дорожная колея тут не кончалась: взобравшись на густо поросшую ежевикой и чередой земляную насыпь, она уходила в заросли тальника и двухметрового камыша, терялась там. На мой немой вопрос Михаил ответил коротко, но внятно:

— Дальше нельзя, стать негде. Гатка. А это, — он широко повёл рукой, указывая на камышовые крепи справа от насыпи, — Гатище. Утки тут море. Ладно, будем располагаться...

Самое лучшее на такой охоте — это длинное, тянкое время перед ней. Уже натаскали мы брошенного, прихваченного летними дождями сена для ночлега, наломали сухого лозинника, костёр развели, по рюмке выпили, закусили — а оно, время, всё тянется, тянется.

Сентябрь на дворе — тихий, тёплый, ясный. Темнота по вечерам ещё не падает на степь коршуном, а долго течёт в глаза родниковой водой сумерек. Вода эта будто бы смещает время. Над меловыми холмами тлеет закат, а тут, у нас над головами, уже ранние звёзды повывыспались. Михаил, как семечки, охотничьи небылицы луждает, только шелуха летит. Я, насмешливо поддакивая, ухмыляюсь — дескать, мели, Емеля. Меня забавляет его реакция на мои ухмылки: лобастый, крепкоплечий,

давно заматеревший мужик, он, видя эти мои пацанские усмешечки, даже про шуточки-примочки обычные свои забывает. Кричит, руками машет:

— Чего лыбишься? Точно говорю! Там и-их! Вон, слышишь? — да вон, вон, гляди, над горою уже... на кормёжку пошли в поля. А ты лыбишься, охламон!

Я, глядя из-под руки туда, где волнисто вычерчено закатом заречное мелогорье, его поддразниваю:

— Так то ж комары, Миш! Густо летят, вот гады! Заедят ночью...

Сосед плюётся и уходит спать в машину. А я, откинувшись на спину, долго смотрю на звёзды. Мне не хочется спать. Но я, наоборот, засыпаю...

— Бух! Бух! — рвут сонную тишину дальние выстрелы. Я открываю глаза: в мутных, совсем не похожих на вечерние потёмках проступает машина. Рядом с ней, разложив на капоте амуницию, одевается мой обидчивый Сусанин. На нём высокий, по грудь резиновый комбинезон на широких ляшках. Хочу сделать соратнику приятное:

— Ты на диверсанта похож.

— А ты на дохлого курёнка... Вставай, через пять минут трогаемся!

Сажусь, нашариваю сапоги: сосед — мужик крутой, ждать не будет. Куртка. Кепка. Патрон-таш. Ружьё бы не забыть...

Уже шлёпая вслед за Михаилом в обрызганную крупной росой, холодящую руки камышовую

сумеречь, вспоминаю: а позавтракать? И с собой ничего не взял. Но молчу, какие разговоры, куда там...

Бредём мы по какой-то кабаньей тропе. Она узкая, мокрые стебли камыша мне все щёки выслезили. Под ногами всё больше воды и чавкающего ила, сапоги вязнут, за корни цепляются. Спина мокреет, а из-под кепки пот течёт уже так, будто в голове моей где-то прокладку пробило.

— Миш, скоро уже?

— Ч-ш-ш-ш!

И опять — чав-хлоп, хлоп-чав, чав-хлоп. Камыш расступается, открывая крохотный плесок, всего метров пять-шесть в диаметре. С одной стороны растёт лозовый куст, с другой жмётся к камышовой стене рогоз. Михаил манит меня пальцем. Кажется, пришли...

Мой наставник по-военному краток:

— Станешь за куст, камыш пригнёшь, получится скрад. На Гатку тебе обзор не нужен, там наш брат стоит густо, муха не пролетит. Утка пойдёт либо со стороны горы, либо по руслу. Твоя утка — налетающая, а не уходящая. Бей ту, которую ствол достать можно, иначе не найдёшь. Понял?

— А если подождать, пока сядут?

— Куда сядут, чудило? Тебе на голову? Они ж тебя сразу срисуют!

— А тут не опасно? Сам говоришь, что на Гатке охотников полно...

— Радуйся, что коровы не лежат. А то бы картечью как стали садить, точно б голову тебе снесли... А так только попугают. Ну, не дрейфь! Пока...

В утренней тишине ещё долго слышатся мерные чавкающие звуки шагов: мой неумолимый сподвижник решил, видно, забраться в самую крепь, в середину Гатища. Я отдышался, пробрал себе обзор, пригнув несколько камышовых вершинок. Делать скрадок не стал, и так сойдёт, в такой-то гущине кто меня увидит?

Рассвет, ночевавший где-то там, в полевой степи, на просторе, подходил к пойме медленно, будто боясь вымочить росой ноги. Проснулись камышовки, свежий луговой ветерок потянулся сладко, задевая руками верхушки камыша; потянулся и затих. Самое дрёмное время. И у меня глаза начинают слипаться, хоть спички вставляй. Но я, ружьё наизготовку, стою на страже, вслушиваюсь, всматриваюсь. А ещё комаров отгоняю. Они тоже проснулись, завтракать хотят. Вот ещё один налетает, здоровый... стоп... это ж... Вскидываю ружьё, но поздно: утка свистит у меня над головой. Через секунды за спиной у меня глухо ломаются выстрелы: «Гух-х! Гух-х!» Потом торопливые выстрелы, как по цепочке, уходят вдоль Гатки к горе и там затихают. Салют в честь первой утки завершён. Теперь жди продолжения, да не зевай — тебе, тебе, говорю, тетеря сонная!

Когда рассвело, и утка — прав был сосед! — пошла валом, я растерялся: всюду бухало и бабахало, со свистом пронеслась мимо дичь, и одиночная, и стайками, а я всё никак не мог выбрать момент для выстрела: то далеко, то сбоку, то, заложив вираж, утки резко уходят вверх. Похоже, кепка моя им не нравится. Придётся ладить шалаш...

В той стороне, куда ушёл Михаил, коротко ударил выстрел. И сразу же затрещал камыш, как будто шальный кабан в заросли ломанулся. Пару минут спустя шумок, уже приглушённый, назад прошелестел и затих. Зато пальба у меня за спиной не стихала: на Гатке, видно, десант высадили неслабый, причём один точно с пятизарядкой, очередями молотит. Иногда с неба слепым дождём сыпалась чуть ли не на голову излётная дробь, по жестяной камышовой листве барабанила. Но я уже не втягивал голову в плечи, привык. Стайная утка, покружив на Гатищем, реденькими дымками клонилась за бугры, степь. Но охота ещё не кончилась, нет-нет да и взлетали с прогалин скрытого зарослями речного русла одинокие криквы. Одна, ещё не успев набрать высоту, вывернулась прямо мне на стволы, и я не промахнулся. Вроде не промахнулся... Шлепок раздался совсем рядом, метрах в десяти. Я, довольный, побрёл сквозь гущину за добычей. А её — куки-маки, нет нигде. Пыхтел, топтался, кругами ходил — нету, и весь сказ!

Вернулся на место, настроение на нуле, в животе волки воют: «У-у-у! У-у-у!» А Михаил выходит из своей берлоги и не думает, знай себе молотит: раз, и ещё раз, и ещё. У него двустволка, а бьёт одиночными; значит... Тут на меня тройка крякв упала, на плёс метаясь. В последний момент заметили меня, дёрнулись вверх, но я успел приложиться, сбив тяжёлого зеленоголового селезня. Селезень упал как раз на середину «моего» плёса, я так к нему рванул, что споткнулся и набрал сапогом воды. Пока стягивал сапог, выкручивал носок, приводил себя в порядок, утро уже перетекло в день. Утки совсем перестали летать, выстрелы стихли. На Гатке посылались голоса, смех. Скоро явился Михаил — в грязи и тине едва ли не по уши, но довольный, улыбающийся во весь рот:

— Хвались, ворошиловский стрелок!

А сам стоит, весь утками обвешан, как новогодняя ёлка игрушками. Только и вымолвилось через совсем не театральную паузу:

— Ну, ты силён, однако! Когда ж ты успел... Вроде и стрелял раз пять всего...

Сосед хохотнул довольно:

— Обмен честный: один к одному! А твоя где вторая? Смазал?

На мои сетования отозвался сочувственно:

— Бывает. Тут сноровка нужна. Засёк направление, определил расстояние, закрыл глаза — и топчи до места. Чего смеёшься? С закрытыми глазами проще. А то головой крутить станешь,

прикидывать, дорогу выбирать — и обязательно собьёшься. А подранок тем временем в тину нырёт, лапами за камышину держится, сверху — один клюв... Подранков надо добирать. Пошли, глянем.

Хлопоты наши оказались пустыми, но урок тот я на ус намотал. И совет, больше смахивающий на дружескую разводку, оказался по сути своей верным. Закрывать глаза, конечно, было вовсе не обязательно, главное в таких зарослях — схватиться глазами за ориентир и идти к добыче, не сосупая даже на четверть шага. Только прямо! Всё это я не раз потом проверил, в том числе и на полонных донских озёрах-сагах. Так что соседа своего я не раз ещё вспоминал добром, хоть наша с ним охотничья «крепь» скоро распалась. Он перешёл на другую работу, подолгу бывал в командировках. Да и разными мы всё же были людьми, его хваткость, стремление «бить всё, что бежит и летит», смущали мою созерцательно-раздумчивую охотничью натуру.

А про Гатище я долго ещё не забывал. Тянуло меня туда. Приезжал на мотоцикле, много лет служившем мне неказистом «Минскаре», закатывал его в заросли и — с головой в камышовые джунгли. Хорошо там было, одиноко, радостно и знобко. Иной раз зорю выстаивал без выстрела, но это как-то скользило мимо, не задевало. Наверное, не только добыча меня туда влекла...

Однажды осенью, уже не ранней, приехал туда на вечернюю зорю. Смотрю, воды в Гатище прибавилось, к тем блочкам чистой воды вдоль русла речки, где я привык уже охотиться, в сапогах не доберёшься. Решил стать на самой насыпи, на Гатке, в самом дальнем её краю.

Насыпь эта когда-то представляла собой перехватывающую всю пойму плотину, речке оставили только отвод: две врытые в плотину трубы. Трубы большие, худосочной речушке, похожей здесь на ручей, этого хватало с избытком. Воды тогда в запруде было много, целое озеро разлилось, правда, мелкое. Но в дело вмешался случай в лице вполне мирного племени бобров. Оказалось, что они не только дровосеки, но и землекопы: нарыли на Гатке нор, да так много, что в половодье через норы эти плотину под горой «прососало» сразу в нескольких местах. Из запруды вода ушла не вся, промоина же со временем превратилась в болотину, перекрывающую выход к горе. А поскольку ниже насыпи место тоже было заболоченное, глухое, Гатка стала тушиком.

Я зашёл в самый край насыпи, перебрёл через береговой лозняк и устроился как раз напротив небольшого озера, в котором местные летом ловили на удочки карасей. День был будний, на Гатку никто не приехал, и я, дожидаясь вечернего лёта, радовался неожиданному

своему уединению. Но лёт в тот вечер так и не случился, на Гатку, где её всю осень встречали выстрелами, утка не шла. Стало темнеть, но уходить я не спешил: знал, что на облюбованное мной карасиное озерко утки садятся только в поздних сумерках. Когда темнота, до верхушек залив камыши, стала с ними вровень, я решил, что больше ждать нечего. Выбираясь из лозняка на насыпь, услышал чуть в стороне характерное бульканье, шум потревоженной камышовой крепи. Ага, значит не один я, оказывается, такой упёртый страдалец. Видно, кто-то из местных ещё до моего приезда забрёл в Гатище, простоял там попусту и теперь выходит к насыпи. Ладно, попутчик будет, дорога отсюда одна. Тем временем бульканье стихло, будущий попутчик выбрался на сухое.

— Эй, земляк, — окликнул я на ходу и остановился. Ответа не было; что-то большое, тёмное, тронувшись было в мою сторону, остановилось, замерло. Горячая волна кольхнулась в груди, лизнула горло, не давая мне сглотнуть слюну: то, что темнело в нескольких метрах от меня, мало напоминало фигуру человека. Уже понимая, что попал в переделку, я, бодря себя, попробовал «взять на горло»:

— Эй ты, ты там... а ну давай...

Что именно «давай», я уточнить не смог, не успел, потому что явственно различил ответное, недовольное:

— К-х-х-р-р-о! К-х-х-р-р-о!

Отпрыгнул ли я так далеко, попятился ли так ловко — не помню; обрёл себя на самом краю Гатки, в руках — ружьё, сердце из горла выпрыгивает, о зубы стучит: «Бей! Бей! Бей!» В горячке той кто-то удержал палец мой на спусковом крючке, не дал ему погибельно дёрнуться: утиные заряды в стволах, а там...

Там был кабан, да нет, по размытому силуэту судя, не кабан — кабанище! Секач! Стрелять нельзя — порвёт, затопчет. Стрелять нельзя... а что, что можно?

В таких случаях обычно пишут: «Томительно тянулись минуты»; это неправда: испуганное время, стучась в виски, оставалось рядом со мной, никуда не уходило. Не уходил и кабан, заступивший мне дорогу. Или это я ему дорогу заступил? Похоже, он правится к горе, где в садах давно исчезнувшего хутора полно сейчас поздней грушёвой опади. А самый короткий путь туда — через промоину, по старой насыпи. Сойти мне в воду, брести, по пояс мокрому, через камышовую крепь в сторону луга — рискованно: там полно секачиной родни. Да и дойду ли по темноте, без дороги...

Ничего вроде не изменилось, но отчаяние, которое набило мои ноги ватой, вдруг стало другим и поползло по спине горячей щекоткой. Решение пришло мгновенно, и я не думал ни секунды: пальнув вверх из правого ствола, я кинулся

к кабану с диким криком: «Уа-а-а-а!» Услышал всплеск и треск камышей — и ноги мои подломились, уронили меня на колени. Треск в камышах удалялся, стихал. Дорога была свободна, но я не двигался, намертво сжав двустовлку, в которой таилась вся моя защита — единственный патрон, заряженный утиной дробью...

Потом я, пересилив себя, ещё бывал на Гатище, но уже редко и только на утренней зорьке. Стоя в камышах, я уже не так беспечно воспринимал доносившиеся из камышового непролаза звуки-шорохи. «Попутчик», встретившийся на узкой вечерней стёжке, воображение моё не отпускал долго. Доводилось мне прежде слышать рассказы, как кидались на людей дикие свиньи, но там было всё понятно: они защищали выводок. Порой кабан, бегущий из загона, выходил как раз на номер и бросался на охотника; о подранках я даже не говорю, они всегда опасны. Но что подвигло на «геройство» встретившегося мне на Гатке кабана, почему он не уступил мне дорогу по-доброму? Он не напал, да, но выжидал, грозил молча, хотя знал, что перед ним человек. Может, просто запомниться мне хотел, в историю попасть?

...А ещё я думал, что не зря помнит старая русская поговорка про смелость, которая города берёт. И не так уж важно, откуда та смелость взялась-приключилась. Главное — взятые города...

Зарубка седьмая: **Я ТАМ БЫЛ...**

Сказки часто такой присказкой заканчиваются: «Я там был, мёд-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало». Мне в детстве это обидным казалось: как же так, почему не попало? Рот, что ли, с дыркой? Ладно пиво, оно горькое, а мёд?!

Но вот уже и моя сказка к закату движется, и пора итоги, вовсе не сказочные, подводить. Хотя почему же не сказочные?

Настоящая сказка уже одно то, что «я там был». Там — с поймой-Вербями, с поймой-Гатищем, с Холодной горой и Соболевым лесом, с прудами-озёрами, с мечтами-надеждами, с простором и волей.

И «мёд-пиво пил», конечно, сам того не замечая. Впитывал, вбирал, нёс бережно те светлые мгновения, которые, ни слова не говоря, укрывали от жизненных стуж мою душу, окрыляли, растили её.

Что же до того, что «по усам текло, в рот не попало» — дудки, я же тогда безусым был! Хотя...

Подонье, по сравнению с моей степной родиной, — земля обетованная, охотничий рай. Помимо всякой мелочи, вроде зайцев и уток, — кабаны, косули, лоси. Дичи много, люди в эти места за сотни вёрст поохотиться едут. Я приехал сюда человеком молодым, но охотником уже бывальым, к тому же полноправным: с охотничьим билетом, с новой

двустволкой шестнадцатого калибра. Среди коллег — охотник едва ли не каждый второй; казалось бы, вливайся, осваивайся, вращайся в новую среду. Однако не врос. Виною тому, конечно, мой характер. Да и привык я уже за многие годы своих мальчишеских охотничьих скитаний ни с кем не делить свою страсть. Зимой, сунув ружьё в чехол, уезжал ранним утром на рейсовом автобусе подальше от райцентра, чтобы потом полями, кружным путём, выйти под вечер к дому. Там, в полях, хорошо думалось. Иногда крылатым промельком задевали сердце незнакомые строки, которые потом, ночью, становились моими стихами. Зачем менять это богатство на шум и анекдотный хохоток многолюдных охотничьих компаний? К тому же непременно участником таких компаний был зелёный змей, а мне не хотелось заводить с ним дружбу.

Так шли мои редкие вольные дни, уводя за собой годы. И я стал замечать, что порой уже за ними не поспеваю — не в переносном смысле, а просто физически. Всё настойчивее проступала на ногах синеватая венозная сетка — болячка наследственная, доставшаяся мне от отца. Левая нога после больших нагрузок опухала, я с трудом мог пройти несколько метров. Через несколько дней опухоль проходила, и я (молодости свойственна такая беспечность) о своей хворобе забывал. Но ненадолго, до следующей охоты...

Между тем жизнь, как строгая училка, выставила одним хмурым

новогодним утром мне в дневник две тройки, да не врозь, а свела их, втиснула зачем-то в одну клеточку. Много это или мало — тридцать три года? Тогда казалось, что очень много. К тому же едва ли не каждый из поздравлявших меня друзей считал своим долгом напомнить: не юбилей, но дата, возраст Христа. Да, возраст Христа... Время трезвых оценок и твёрдых решений не только на работе (к тому времени я уже полгода работал народным судьёй), но и в жизни, которая личной зовётся. Каких решений, в чём? Всё большей помехой в строгой службе становилась моя склонность к поэтическому творчеству; для меня же становилось всё более ясным, что без поэзии прожить не сумею. И ничего здесь не смогут изменить ни укоры, ни косые взгляды, ни посулы сладких карьерных коврижек. Короче, жизнь, достигнув очередного своего перевала, была на переломе; и неизвестно было, куда она качнётся.

Однажды уже не ранним зимним утром, вскоре после того памятного новогодья, я выбрался на охоту. Сошёл с автобуса совсем недалеко от райцентра, километрах в пяти. Было тихо, зябкое январское солнце просвечивало сквозь морозную дымку, как яичный желток в гранёном стакане. Хотелось идти и идти — туда, в белую распаханность полей, разводя руками сквозящие дымки полузанесённых лесополос. Я и шёл, даже не пытаясь держаться постоянно маячившего перед

глазами вилючего заячьего следа; следа чёткого, утреннего. Заяц встал из-за снеговой застружины — прямо передо мной, как по загаданному. Выстрел был удачным. Забрав добычу, я неторопливо двинулся назад, к дороге, до которой было всего-то километра два. Шёл и думал, вернее, старался заставить себя так думать — дескать, какая удачная, какая лёгкая охота выдалась; такой ещё и не бывало. Ноша была, вроде, не тяжела, но снег, особенно на длинных позёмочных скосах, казалось, намеренно цеплял, придерживал мои валенки. Когда вышел к дороге, горевшей огнём левой голени было в валенке тесно. На попутке (чего сроду не бывало) доехал до дома. Добрёл до крыльца, с трудом поднялся по скрипучим ступенькам. На веранде положил заячью тушку на стол, поставил в угол ружьё, неторопливо обмёл валенки. И, глядя сквозь затянутые морозом стёкла широкого, мелко расчерченного деревянной перевязью окна, сказал себе: «Всё, парень, это была твоя последняя охота...»

Теперь, в оглядку, мне видно, что не одна только хворь была причиной такого резкого решения. Страсть охотничья, захватившая в отрочестве меня полностью, до тихой горячки, с годами менялась — остывала и остывала, пока не превратилась в подёрнутые золой синеватые угли. Такие остаются к утру на месте весёлого, бойкого вечернего костра. Брось на них пучок сухой травы

или высохший лозовый прутик — они отзовутся, вспыхнут, но недолгим будет это горение. Мне ещё необходимы, радостны были ранние подъёмы-сборы, узнающие меня в лицо полевые ветры, ружейный ремень, обнимающий моё плечо. Но сама добыча — даже не как прибиток к столу, а как средство самоутверждения, подтверждения статуса «могучего воина» в дружеском кругу — заботила меня всё меньше; более того, порой даже тяготила. Наверное, сыграло роль и то давнее, до срока не тревожившее память, но не забывшееся: обессилевшие, пытающиеся найти спасение в глубоком снегу куропатки, заячий крик, тонкий, рвущий душу, — тогда, на ночной охоте. Ритуал, алгоритм самого понятия «охота», отпечатавшийся в сознании, казалось, раз и навсегда, перестал быть самодостаточным, главным, единственно верным. И вовсе не случайными были эти строки, которые пришли ко мне как-то вдруг, сами собой:

ОХОТА

Слезлив стал...

Да, видимо, возраст,

Хоть вроде и рано о том.

А может быть, осень...

Задумчивый воздух,

Осина с багряным листом...

Давно не случалось такого

вот лёта —

Стреляют с обеих сторон.

Но медлит, как будто

припомнивши что-то,

*К стволу поднесённый патрон.
И ветер мышионком, забравшимся
в сенцы,
Шуришит в побелевшей куге...
Наверное, осень...
А может быть, сердце,
Что было сродни пустельге:
Глядело далёко, летало высоко,
Не мучилось зряиной виной.
И падало долго, как маленький
сокол,
Задетый дробиной шальной...*

Что-то было в этих строках виноватое, прощальное, хотя тогда вешать ружьё на гвоздь я ещё не собирался. Впрочем, и спустя несколько лет мемориальный гвоздь мне не понадобился: приняв решение, я сдал ружьё в «органы», раздарил все принадлежности и «снасти»; только дешёвый патронташ из кожзаменителя, весь в трещинах и царапинах, долго ещё висел на стене в сарае, делясь воспоминаниями с набивавшейся в щели солнечной пылью. Не знаю, что он там ей заливал, но пыль та слушала его тихо-тихо. И — светилась...

Вместо послесловия

Кто-то из тех читателей, кому охота представляется занятием варварским, поторопится сказать вслед прочитанному: «Ну, вот, что и следовало доказать: полное авторское разочарование!» И попадёт пальцем в небо. Главными моими воспитателями были бабушка Саня, книги и охота. Бабушка объясняла жизнь, её главные ценности через труд, книги — через знание, охота — через преодоление.

Она учила вставать до света, по-солдатски ровно и крепко наматывать портянки, терпеть жажду и стужу, одолевая усталость, идти к намеченному через «не могу».

Она каждое утро, улыбаясь, подталкивала меня к рукомоynику, обливала ледяной водой, совала в руки эспандер и гантели — кому нужны слабаки на охотничьей тропе!

Она ставила мне мужской характер, учила принимать решения и отвечать за свои поступки: не знаю, что случилось бы со мной, хоть и не слишком избалованным, но всё же книжным мальчишкой на жизненных дорогах без её строгого участия.

А ещё охота стала для меня, выросшего в отдалённом степном селе, сразу и концертным залом, и картинной галереей. Под её рукой — там, в пойме, в полях и перелесках, на воле — всё звучало по-иному: и шорох опавшей листвы под ногой, и скрип снега, и шум ветра в лозиннике. Все звуки, которые в привычной «мирной» жизни скользили поодиночке мимо, не трогая, не задевая, здесь сходились, сплетались, свивались в одно — и становились волнующей мелодией, которую нельзя было не услышать. Её нельзя было не услышать, наверное, ещё и потому, что частью её был ты сам — твоё замирающее дыхание, твоё торопящееся навстречу этим тревожно-таинственным звукам сердце.

Являлся вдруг из балки, выходил на взгорок бурьян-чернобыл,

глубоко вдохнувший в себя утренний иней, и след твой, молодой и целеустремлённый, вдруг замирал на широком шагу; и топтался на месте, и тянулся неловко к этому диву дивному — прикоснуться, потрогать.

Зимнее солнце перед закатом дарило щедрые свои акварели: удивлённо вскинутыми тёмными девичьими ресницами жила, держала взгляд занесённая по самую макушку лесополоса; вырезанному из красной закатной меди кусту боярки снился приовражный сугроб с розоватым петушиным гребнем; мышкующая вдалеке, на засолнечном, схваченном синими тенями склоне лиса казалась рыжим фонариком, зажатым в чьей-то нетерпеливой невидимой руке...

Всё это было моим постижением родины — не ограниченной двором и садом, выгоном и школой, раз и навсегда затверженным распорядком обыденной жизни.

Охота была праздником — только моим, особенным: моими снами, моим нетерпением, моим несмелым рассветом и широко раскинувшим руки мне навстречу высоким днём; моей усталостью,

умевшей смыкать веки не глухой темнотой, а качающимся перед глазами, размываемым синей водой сумерек заячьим следом. И разочарованиями моими она была, и раздумьями долгими; и виной моей смутной — да, и виной тоже; но разве в жизни иной, привычно-благопристойной, умеющей рядится в блескучие одежды всяческих «природолюбских» словес, ничего этого нет? Ой ли...

Может быть, теперь, говоря об охоте и пытаясь через много лет воскресить в памяти её черты, нарисовать её портрет, я что-то упустил, а что-то, напротив, дал слишком крупным мазком; но не так ли поступает художник, пытающийся воскресить на холсте черты дорогого ему лица? Это ведь не копирование, не перевод через кальку, а художественное изображение; нет смысла рассматривать картину с лупой в руках. Напротив, чтобы в глазах не рябило, хорошо бы отступить на шаг-другой, постоять тихонько, подумать, всмотреться. Бывает, что при этом сквозь рыбью чешую рвущих глаза бессмысленных мазков проступит вдруг что-то очень знакомое, волнующее, живое...